



В. Ф. ХОДАСЕВИЧ

«Жребий Пушкина», статья о С. Н. Булгакова

По случаю пушкинского юбилея произведена была некая мобилизация наших сил: о Пушкине высказывались, печатно и устно, не только специалисты-пушкиноведы и историки литературы, но и многие представители других областей словесности: беллетристы, философы, публицисты — порою прославленные. Нельзя сказать, чтобы эти высказывания очень удались. Дело кончилось тем, что одни, вместо того чтобы говорить о Пушкине, с забавной и жалкой важностью говорили о себе; другие разразились напыщенной, но бессодержательной декламацией; третьи сбились на повторение старых общеизвестных мыслей, верных и неверных. Печальной особенностью этих маститых, но неопытных высказываний было то, что суждения нередко основывались на исключительно плохой осведомленности о жизни и творчестве Пушкина. Делались многозначительные ссылки на стихи, Пушкину не принадлежащие; стихи подлинно пушкинские приводились в испорченных редакциях, выражающих не то, что в действительности писал Пушкин; авторам статей оказывались неизвестны вполне установленные факты, опровергающие их мнения; обратно — сообщалось о событиях, в действительности не бывших, сведения о которых черпались из давно опорожненных источников (в частности, многое было основано на самых фантастических сообщениях из так называемых «Записок А. О. Смирновой», подложность которых установлена лет уже тридцать тому назад)¹.

Вообще говоря, эти писания, словно написанные по системе «что верно, то не ново, что ново, то не верно»², никаких лавров в наш венок не вплели. Вспомнились они мне только к слову, потому что на днях мне довелось ознакомиться еще с одной статьей, также вышедшей из-под пера неспециалиста, но глубоко от-

личной от всего, что до сих пор было опубликовано. Я имею в виду статью о С. Н. Булгакова «Жребий Пушкина», напечатанную в только что вышедшей двенадцатой книжке «Нового Града». Моя пушкинистская совесть была бы неспокойна, если бы я скрыл, что и в этой работе найдется некоторое количество неточностей, задевающих пушкинистский слух. Так, 18-й стих «Пророка» читается не «И жало мудрое змеи», а «И жало мудрыя змеи»: эпитет относится не к жалу, а к змее, и дан не в винительном падеже среднего рода, а в архаической форме родительного падежа женского рода; Н. Н. Гончарова не была фрейлиною в девичестве и, конечно, не могла ее стать, когда сделалась Н. Н. Пушкиной; стихотворение «Красавица (В альбом Г***» отнюдь к ней не относится...³ Но эти неточности касаются лишь частных, не существенных для решения поднятых вопросов. Во всем же существенном о. Булгаков, напротив, высказывает серьезное и углубленное знание Пушкина. Вот почему приходится отнестись с большим и почтительным вниманием к его статье, выдающейся как по важности самой темы, так и по значительности многих высказанных мыслей. Однако такое внимание, мне кажется, не только не препятствует, но и обязывает высказать возражения, возникающие при чтении.

Говоря о причинах пушкинской гибели, о. Булгаков прежде всего выдвигает мысль чрезвычайно существенную и верную. Не отрицая важности жизненных обстоятельств (литературных, семейных, общественных), сыгравших огромную роль в истории последних лет жизни Пушкина, о. Булгаков тем не менее отказывается объяснить все только ими, все свалить на злую волю других, представить Пушкина безответной жертвой. Пушкин, говорит он, «не нуждается в такой защите. Он достоин того, чтобы самому ответствовать перед Богом и людьми за свои дела». И в другом месте: «Судьба Пушкина есть прежде всего его собственное дело. Отвергнуть это — значит совершенно лишить его самого ответственного дара — свободы, превратив его судьбу в игрище внешних событий. Над свободой Пушкина до конца не властны были одинаково ни бенкендорфовская полиция, ни мнение света, ни двор».

Чтобы установить степень и содержание вины Пушкина перед самим собой, о. Булгаков обращается к истории религиозных воззрений и переживаний Пушкина. «Только бесстыдство и тупоумие способны утверждать безбожие Пушкина перед лицом неопровержимых свидетельств его жизни, как и его поэзии. Переворот или естественный переход Пушкина от неверия (в котором, впрочем, и раньше было больше легкомыслия и снобиз-

ма, нежели серьезного умонастроения) совершается в середине 20-х годов, когда в Пушкине мы наблюдаем определенно начавшуюся религиозную жизнь». Кое-что в этой формулировке, мне кажется, не совсем точно. О юношеском безверии Пушкина (в эпоху Лицея и «Зеленой лампы») можно говорить, не страдая ни тупоумием, ни бесстыдством. Пушкинское эпикурейство той поры не было следствием только легкомыслия и снобизма. Оно было следствием глубокого душевного процесса, который сам Пушкин замечательно определил словами: «Ум ищет Божества, а сердце не находит». В знаменитом письме, за которое он был сослан из Одессы в Михайловское, он называет атеизм «системой не столь утешительной, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобной»⁴. Тут же, однако, он называет знакомого англичанина, у которого «брал уроки чистого афеизма», *единственным* умным афеем, которого ему довелось встретить. Тем не менее во второй половине двадцатых годов, действительно, в нем обозначился перелом. По-видимому, сердце его научилось «находить Божество», и о. Булгаков вполне точен в окончательном своем выводе: Пушкин «знал Бога».

Естественно возникает, однако, вопрос о мере этого знания, и тут о. Булгаков дает ответ в высшей степени точный и пронизывающий. Отметив многие факты, свидетельствующие о культурном и бытовом тяготении Пушкина к религии, о. Булгаков делает существенную оговорку: «Личная его церковность не была достаточно серьезна и ответственна, вернее, она все-таки оставалась барски-поверхностной, с непреодоленным язычеством сословия и эпохи... Очевидно, не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегла основная магистраль его жизни. Ему был свойствен свой личный путь и особый удел — предстояние пред Богом в служении поэта».

Вот отсюда и начинается то, в чем трудно с о. Булгаковым согласиться. Я беру на себя смелость сказать, что о. Булгаков сам не до конца учитывает все значение этой последней мысли, выраженной им так прекрасно. «Предстояние пред Богом» есть в служении поэта; это чувствовал Пушкин, но имел на сей счет не те понятия, которые приписывает ему о. Булгаков. На этом пункте надо остановиться, потому что из него-то и проистекает все, с чем не хочется согласиться в статье о. Булгакова.

«Пророк», одно из гениальнейших созданий Пушкина, с незапамятных времен сделалось источником великого соблазна. В «Пророке» видели и видят изображение поэта, для чего, в сущности, нет никаких данных. Пушкин всегда конкретен и реален. Он никогда не прибегает к аллегориям. Его пророк есть именно

пророк, каких видим в Библии. Белинский, сказавший о Пушкине много наивного, но и много верного, весьма пронизательно ставит «Пророка» в один цикл с подражаниями Песни Песней⁵. Пророк — лишь один из пушкинских героев, гениально постигнутый, но Пушкину не адекватный. Конечно, для такого постижения надо было как бы носить пророка в себе. Пушкин его и носил, но лишь в том смысле, как носил в себе Онегина и Татьяну, Моцарта и Сальери, Петра и Мазепу, капитана Миронova и Емельяна Пугачева. «Пророк» — отнюдь не автопортрет и не портрет вообще поэта. О поэте у Пушкина были иные, гораздо более скромные представления, соответствующие разнице между пророческим и поэтическим предстоянием Богу. Поэта Пушкин изобразил в «Поэте», а не в «Пророке». Очень зная, что поэт порою бывает ничтожней ничтожнейших детей мира, Пушкин сознавал себя великим поэтом, но нимало не претендовал на «важный чин» пророка. В этом было его глубокое смирение — отголосок смирения, которое сама поэзия имеет перед религией.

Традиционное, но ошибочное отождествление поэта с пророческим обычно тонет в пустых словоизвержениях на тему о высшем призвании поэта «по Пушкину» и потому не имеет серьезных последствий. Другое дело — о Булгаков: из той же ошибки он сделал неизбежный и существенный вывод: поставив знаки равенства между пророком и Пушкиным, он предъявил к Пушкину такие духовные требования, которые самого Пушкина ужаснули бы.

Внутреннюю историю последних лет пушкинской жизни о. Булгаков рассматривает как отклонение с того духовного пути, на который пророк-Пушкин будто бы однажды вступил. По мнению о. Булгакова, у Пушкина тридцатых годов мастерство преобладает над духовною напряженностью, искусство над пророчесственностью, потому что женитьба, семейная жизнь, отношения с двором и т. д. не только житейски завели Пушкина в тупик, но и повлекли за собой глубокий духовный упадок: с этих пор, говорит о. Булгаков, «пророк ищет себе убежища в поэте» и творчество, духовный источник которого иссяк, «продолжает свою жизнь преимущественно как писательство».

Такая концепция чрезвычайно отяготительна для Пушкина, на которого тут возлагается ответственность за страшное падение: от пророка до озлобленного камер-юнкера, которому ничего не оставалось, кроме выбора: «убить или быть убитым».

На ту же тему о гибели Пушкина есть статья у Владимира Соловьева. В последний раз я читал ее лет двадцать тому назад и не могу перечитать, потому что нахожусь вне Парижа. Но если мне

память не изменяет, Соловьев в своей чрезвычайно суровой и неприятно резкой статье осудил Пушкина за недостойную погруженность «в заботах суетного света» и за озлобленность, не подобающую христианину. О. Булгаков говорит о Пушкине с большою любовью, но суд его выходит еще строже, потому что самая ответственность Пушкина у него повышена во много раз: у Соловьева речь идет о слабом человеке, у о. Булгакова — о падшем пророке.

Кажется, о. Булгаков сам был смущен приговором, который ему предстояло вынести. В последнюю минуту его рука дрогнула, и он приписал Пушкину катарсис, который обрисовал нам в виде глубоко христианского просветления на смертном одре: «В умирающем Пушкине отступает все то, что было присуще ему накануне дуэли. Происходит явное преобразование его духовного лика — духовное чудо. Из-за почерневшего внешнего слоя просветляется “обновленный” лик, светоносный образ Пушкина, всепрощающий, незлобивый, с мужественной покорностью смотрящий в лицо смерти, достигающий того духовного мира, который был им утрачен в страсти».

Схема духовной жизни Пушкина, начертанная о. Булгаковым, не представляется мне исторически верной. Несомненно, в последние годы жизни и в самой истории с Дантесом Пушкин выказал известное «малодушие» — в том смысле, как это слово употреблено в «Поэте».

В заботах суетного света
Он малодушно погружен.

Но это было, так сказать, нормальное падение поэта, которому падения свойственны и простительны по самому его «чину». Падения же пророческого не было по той причине, что пророком Пушкин не был и себя таковым не мнил. Зато не было и катарсиса в том смысле, как о нем говорит о. Булгаков.

Последние дни и часы пушкинской жизни как нельзя более свидетельствуют о его прекрасной душе. Мужество, с которым он старался переносить физические страдания, заботы о жене, прощание с близкими, даже прощание с книгами — все это невыразимо трогательно. Сюда же относится и принятое им напутствие церкви, и обращенная к Е. А. Карамзиной просьба перекрестить его⁶. Однако смысл этих двух последних поступков не должно преувеличивать. Нет никаких оснований видеть в них как бы скачок в религиозном сознании Пушкина, — то «духовное чудо», о котором говорит о. Булгаков. Как вся религиозная жизнь Пушкина была лишь исканием веры, так и здесь прояви-

лось лишь искание христианской кончины. Не фантазируя, нельзя сказать, будто «в умирающем Пушкине отступает все то, что было присуще ему накануне дуэли». Если бы это было так, он обнаружил бы намерение, в случае выздоровления, не возвращаться ко всему, «что было присуще ему накануне дуэли». В действительности, последние слова Пушкина свидетельствуют об ином: «Нет, мне не жить, и не житье здесь. Я не доживу до вечера — и не хочу жить. Мне остается только умереть»⁷. Слова эти означают, что Пушкин ни на мгновение не отказывался от самого себя — такого, каким был перед дуэлью, что если бы ему вновь суждена была жизнь — все жизненные конфликты воскресли бы вместе с ним, и он намеревался в будущем пережить их так же точно, как в прошлом. «Духовного мира», о котором говорит о. Булгаков, Пушкин не хотел⁸. Именно потому, что сознавал это нежелание, он и не хотел, чтобы жизнь продолжалась. За пять минут до смерти он спросил: «Что, кончено?» Его переспросили: «Что кончено?» — «Жизнь». — «Нет еще». — «О, пожалуйста, поскорее», — ответил он⁹.

О. Булгаков говорит о «всепрощающем, незлобивом» Пушкине, а Лермонтов, который не присутствовал при кончине, но был не только проникновенный поэт, а еще и современник Пушкина, конечно многое знавший о нем (хотя бы от Карамзиных, к которым близко стоял в ту пору)¹⁰, — прямо и дважды свидетельствует:

Пал, оклеветанный толпой,
С свинцом в груди — и жаждой мести...

И далее:

И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Не пророком, падшим и вновь просветлевающим, а всего лишь поэтом жил, хотел жить и умер Пушкин. Довольно и с нас, если мы будем его любить не за проблематическое духовное преобразование, а за реально данную нам его поэзию — страстную, слабую, греховную, человеческую. Велик и прекрасен свет, сияющий нам сквозь эту греховную оболочку. Велик и прекрасен Пушкин такой, каким был. И если кто из нас, хоть в малейшей доле приблизится к его смиренной, не пророческой, а всего только поэтической высоте, — как уже много это!

